

Людмила МАРАВА

ОЙ... НА ЛУГУ КАЛИНА...

Просто невозможно
иметь надежду встретиться...

Из случайно услышанного

Калина горькая... Горчит она безбожно, набивая сочную, несъедобную оскомину да дурманной пеленой и алым жаром, исходящим от тяжелых гроздьев, созревающих к осени, туманит глаза. Невозможно равнодушно пройти мимо такой земной красоты, что всегда празднично выделяется среди других деревьев.

Сплошной, непроходимой стеной стоят они, те деревья вдоль просевшей, в глубоких колдобинах, дороги, вымученно-устало и медленно-тягуче ведущей к самому краю донецкой блокады — на донецкую Голгофу.

Помнится, оказавшись на этой дороге впервые несколько лет назад, трудно пришлось выбираться из ступора душевного онемения. От ледяного холода постыдного прозрения еще долго сжималось сердце. В отяжелевшем гуле от множества разорвавшихся и неразорвавшихся в этой Донецкой окраинной земле снарядов (без малого уже десятков лет палили сюда прямым и перекрестным огнем со всех сторон) трудно пробивается здесь, среди деревьев, солнечный свет. Тогда, в 2018 году, срезанные под корень прямыми попаданиями снарядов деревца придорожной посадки спасли от смерти рядом стоящие, зеленеющие буйством счастливого везения тополя, акации, клены.

Дорога, как и прежде, поражает абсолютной, неубывающей безнадегой. С трудом пробившиеся сквозь густую мешанину веток лучи солнца вязнут в опавших листьях, слезавшихся за годы в плотный зловонный пластырь под деревьями.

Мало кто ходит теперь по этой перетоптанной душевными терзаниями дороге, ведущей на окраинное донецкое кладбище. О троллейбусах из прошлой, мирной жизни, что надежно связывали шахтерскую окраину с центром города, напоминают только насильно кем-то оголенные столбы. На них крепились километры троллейбусной троллеи. По сей день валяются на земле остатки проводов, добросовестно кем-то выпотрошенные на предмет имевшейся внутри меди.

Автобус, что ежечасно проезжал в былые годы мимо поворота на эту второстепенную дорогу, теперь снят с маршрута. Все долгие месяцы донецкой весны 2022 года — сплошные, массивные, тяжелые обстрелы этой нещадно измордованной территории...

Напряженность всего происходящего вокруг ощущается, едва оказываешься на площади перед зданием железнодорожного вокзала. Нет здесь привычной беспечности, характерной для теплого солнечного дня в мирном, многолюдном, ровно дышащем спокойствием большом городе.

Людмила Маравя родилась в городе Макеевке Донецкой области. Окончила Донецкую консерваторию. Печаталась в журналах «Крым», «Дон», «Нева». Живет в Донецке.

Город — есть. Многолюдного мира в нем — нет. Девятый год убывает здесь жизнь, оставляя лишь горькое сожаление о не имеющем оправдания кровавом смертоубийстве.

В нескольких шагах от троллейбусной остановки ряды привокзального базара. Овощное, фруктовое, мясное изобилие щедрого на солнечное тепло юга. Но кто его оценит, если люди из центра предпочитают сейчас сюда не ездить. Тем более и трамвай, что подбирал горожан на центральных остановках, перестал ходить на вокзал: после одного из обстрелов на одном из участков маршрута рельсы были повреждены. Трамвай следовал от вокзала через жилой микрорайон из безразлично-угрюмо глядящих теперь друг на друга, посеревших от грязи и заводских и шахтных выбросов панельных многоэтажек. Окрестные подземные выработки затоплены. Заводы не работают. Люди, прозябающие в голодной нищете от безработицы, лишь часть из тех, кто когда-то здесь жили. Некоторые старожилы остались еще с тех времен, когда донецкая блокада только начиналась и когда с легкостью долетали сюда несущие смерть снаряды. Ничто не изменилось. Воздух гремит от круглосуточных разрывов и сегодня. Ближе к превращенному в руины аэропорту гроыхает безбожно. Там — конец здравомыслия. Там — безбожно режущий слух пронзительный апофеоз донецкого апокалипсиса, в последние месяцы захлестнувший кровопролитным насилием многострадальную эту землю.

Со всем свыклись за много лет долготерпения жители. И с подачей воды по жесткому расписанию (ввиду с каждым днем все более обостряющейся проблемы водоснабжения Донецка), и с урезанным, до нескольких единиц на маршруте, городским социальным транспортом, и с другими испытаниями из уже осточертевшей блокадной жизни. Например, с многочасовыми, тупо и безжалостно потрошасими город канонадами. Все заметнее оседает он прахом на изуродованную разрывами снарядов землю. И пишется здесь каждый день список жертв, людей, безвинно-случайно погибающих в разных районах города.

Страдающих в разрушениях — не счесть.

Подземный переход, ведущий от привокзальной площади до площадки за зданием вокзала, где уютится небольшая автостанция, едва в него спускаешься, обдает холодом бытовой запущенности. Многолетняя пыль, затвердевшая на гранитных плитах стен, поглощает свет, проникающий сюда из боковых выходов на перроны давно не функционирующего железнодорожного вокзала.

Много поездов дальнего следования отправлялось отсюда во все концы страны. И прибывало сюда оттуда же. Теперешнее вокзальное запустение нарушает лишь вечно струящаяся в подземном переходе откуда-то сверху вода. Она стала привычным атрибутом блокадного лихолетья. Но по-прежнему где-то в середине перехода стоят поющие, неунывающие, изрядно износившегося внешнего вида музыканты, истошно наполняющие словами известных песен неряшливую пустоту вокруг. В футлярах от скрипки или от гитары у их ног изредка поблескивает разбросанная на плюшевых лоскутках мелочь. Люди идут по переходу скорым шагом, почти бегут. Спешат к автобусам, что повезут их дальше, в гущу терзаемой круглосуточными обстрелами бездны.

Что удивительно, наблюдая за происходящим, довольно быстро удастся подстроиться под ритм местного вокзального времени. Оно то ускоряется — пробежка по подземке, то неожиданно замедляется — выход по мокрым ступенькам на автобусный перрон, позади здания вокзала. Из многих, годами действовавших маршрутов несколько все же осталось, потому что очень активно разрастался город в предвоенные годы. Этот след былой, спокойной жизни стал для пригородных жителей надежным маяком — некоторые из них, в основном старики, продолжают там жить.

Кажется, никто не думает о войне. Жители фронтовой полосы, возвращающиеся домой с покупками (пакеты, набитые продуктами на коленях), пригрелись на ярком солнце, что беззаботно заполнило украшенную маленькими, издыхающими без воды клумбами территорию заднего привокзалья. Изрядно измочаленные войной люди, среди которых заметны нелепо молодящиеся дешевой косметикой грузно состарившиеся женщины. Уныло, от ничегонеделания, все вяло разглядывают вновь подходящих к остановке.

А в общем, люди просто сидят на стареньких пластмассовых сиденьях, для удобства пассажиров установленных здесь в 2012 году по случаю чемпионата Европы по футболу. Пыльное вокзальное запустение изредка прерывается вздохами мрачного безразличия, отражается в скучно-апатичном настроении людей, ожидающих свой автобус.

— А что, на кладбище теперь никак не доехать?

— Чего никак. Вон машины стоят... Иди туда, — с ленцой ответила на мой вопрос словоохотливая дончанка.

Две машины, старенькие, живучие, как жилистый местный люд, «Жигули» смирно притихли у остановки автобуса. Еще издали замечаю одного из водителей. Он коротает простое время, пуская сигаретный дым из открытого окна машины.

— На Иверское? — Словами как из известного пароля громко прерываю его вынужденное безделье.

— Можно. — Он вдруг резко вытягивает шею и начинает ее скрести ногтями свободной руки. Потом, с безразличием оглянувшись на меня, еще раз глубоко затягивается и ловко отшвыривает окурочек в стоящую рядом урну.

Пока усаживаюсь в прокуренную машину, замечаю старушку, мерными, шаркающими шагами приближающуюся к нам. За ней уверенно следует средних лет мужчина. Оказавшись случайными попутчиками и вынужденно удобно разместившись в смачно сдобренной еще и пылью машине, мы интересуемся у водителя ценой поездки продолжительностью в 5—7 минут. Озвученная цифра — 200 рублей — озадачивает нескромностью его желания заработать.

— Так что, все ныне дорожает? — решаю позлить водителя, пока мы, его пассажиры, пытаемся разделить между собой на три озвученную им сумму. — Однако сvezло же как, а то одной пришлось бы раскошелиться. За комфорт, — и с откровенным сарказмом смотрю на водителя.

Вместо ответа — отраженный в переднем зеркале презрительный косой взгляд его прищуренных глаз, почти утонувших под низко нависшими веками. Дележка денег (у каждого из нас, пассажиров, в руках — по сотке) затягивается. Однако кустарно-матово перекрашенный в неопределенный цвет «жигуленок», поднабравшийся на стоянке сил, уже резво мчит нас по знакомой дороге, дребежа всякий раз на многочисленных дорожных колдобинах. Но это особо не беспокоит водителя. Крепко вцепившись обеими руками в руль, он прислушивается к нашему, в основном с мужчиной, разговору. Потом с раздражением поворачивает голову в сторону старушки, сидящей рядом с ним, громко крякает прокопченными сигаретами горлом, пару раз плюет в открытое окно, но ничего не говорит. И только когда уже подъезжаем к воротам кладбища, лихо останавливает машину и с долго сдерживаемым остервенением, не обращая ни к кому из нас в отдельности, грубо бросает:

— Вы отдайте мне двести рублей, а потом идите и делитесь.

— А как отдать, если ни у кого нет мелочи? — борзею я, в тон ему. И азартно сообщаю: обмен вежливыми любезностями в этом захудалом кабриолете не предусмотрен. Но между тем продолжаю: — Сдача клиенту, воше-то, забота водителя, командир.

Презрительное молчание. Но выход из создавшейся ситуации нашелся: мелочь мне удалось наскрести в боковом кармане сумки. Такая заначка, на всякий случай, у меня

всегда имеется. Один из двух полтинников мужчины пошел на сдачу старушке. Ее очень огорчило, что стала она жертвой нашей с мужчиной благотворительности. Пришлось утешать бабушку сердечным обещанием, что на обратном пути посчитаем наши совместные деньги по-другому.

— Вы же за нами приедете? — тут же спрашиваю у водителя.

По крайней мере, так здесь было заведено: с водителем всегда можно договориться. Оставлял он своим пассажирам номер телефона, по которому с ним можно связаться. По звонку клиентов он и приезжал. Но в этот раз:

— Сами дойдете.

Его измочаленный «мустанг» обиженно плюнул черным дымом из нелепо торчащей выхлопной трубы, пока водила резко разворачивался. Норовисто разогнавшись, он укатил восвояси.

— Что он сказал? — заволновалась бабушка.

— Сказал, что не приедет.

— А как же тогда назад добираться?

— Да что-нибудь придумаем, — а про себя добавила: иначе топать отсюда порядочно до вокзала придется. Можно поднатужиться и вызвать такси. Но они сюда не едут. Такой здесь нефартовый интерес для них, двести рэ, слишком мизерный.

Мужчина (в руках у него были ведро с лопатой, грабли, пластмассовая баклажка воды), не омрачаясь подробностями сложившейся ситуации, сразу предупредил:

— Я буду долго работать. Надо почистить могилы. Давно здесь не был...

— Да и с богом. Ну а мы с вами договоримся, где и как встретимся, — обратилась я к старушке.

Не пытаясь догнать быстро покинувшего наше с бабушкой общество мужчину, мы медленно с ней пошли по кладбищенской дорожке. Не торопились. И уж совсем вяло реагировали, когда по кладбищу гулкой волной то там, то здесь тревожно прокатывалось эхо от разрыва очередного снаряда. Муторно шуршащим отзвуком отзывалось оно над оскверненными многолетними обстрелами могилами. Из разрушенных еще в 2014 году мало какие были восстановлены. Некоторые, по-прежнему вынужденно покинутые родными, полностью покрылись непроходимо диким плетением из расплодившихся степных сорняков. Легкие порывы весеннего ветерка дышали медово-горьковатыми запахами донбасского степного приволья.

— А вы к кому приехали? — задаю вопрос старушке.

— К мужу...

— Давно похоронили?

— Давно... Восемь лет будет этим летом...

— Получается, в четырнадцатом году?!

— Получается так... в самом начале четырнадцатого... — Старушка, наблюдаю за ней, по сторонам не оглядывается. Только все чаще вытягивает из рукава кофточки носовой платочек, аккуратно обвязанный вручную по краям беленькой ажурной каемочкой. Не спеша протирая платочком лицо, тихо посапывает — умиралась от жары. Послеполуденное солнце уже давно пылает на безоблачном небе.

— А почему же одна приехали? Дети, внуки...

— Да одна я и есть... Никого здесь у меня теперь нет... — Бабушка, сморщившись, опустила голову. Вытянув вперед упрямой трубочкой губы, замедлила шаг.

Не сговариваясь, мы остановились. Старушка сосредоточенно перекрестилась, повернувшись лицом к храму Иверской иконы Божьей Матери, душевным оберегом возвышающемуся над кладбищенской округой.

— А получится у нас в храм зайти? — Бабушка с надеждой в широко открытых глазах посмотрела на меня.

— А давайте мы с вами встретимся на этом месте минут через тридцать-сорок и вместе решим, что делать дальше. Понимаете, я уже пришла к своим... Тоже заждались... мои родные...

— А мне еще надо идти...

Сверив время (я — по телефону, она, закатив правый рукав кофточки, по большим мужским часам, что на красивом кожаном ремешке плотно прилегали к запястью), мы, не прощаясь, разошлись. Я свернула с центральной дорожки, а старушка пошла по ней дальше. Глядя ей в спину, я заметила, что шла она уже бодрее, не обращая внимания на оглушительную череду совсем близких разрывов. Неистово и нагло сотрясали они ночное донецкое небо все последние годы.

И ноги свои бабушка хорошо чувствовала, и спину держала прямо, и дышалось ей, уверена, спокойно. Потому что не было в ее движениях никакого беспокойства. Хотя очень опасным местом стало донецкое кладбище, методично и жестоко круглосуточно обстреливаемое со всех сторон. Но очевидно, снаряды все-таки здесь не приземлялись. Рассчитанные на дальний полет, они стремительно пролетали над оскверненным войной пристанищем мертвых и терзали жилища живых на окраинах, добираясь и до центра города.

Когда в направлении выезда с кладбища мимо пронеслась большая машина с бесприсветно черными стеклами, подумалось: видать, ну очень большими делами ворочает ее владелец. Определенно суперспец из комиссий по увещанию или из зрелищно-распределительных, облегченного или утяжеленно-ответственного типа, что по амбарам-сусекам. Нет, не с опаленных гарью городских околиц эти граждане-невидимки родом будут. Те от долгов не прячутся за пеленой позорного затемнения. Те — все больше в допотопных сырых подвалах чудом не рассыпающихся пятиэтажек обстрелы переживают, а потом слезами нищенского горя дыры, послеобстрельные, в своих панельных малогабаритных хибарах (ценой в одно колесо такого черного автоволкодава родом из клятого на все лады загнивающего Запада) латают. И еще подумалось: коль машина-вездеход здесь проехала, значит, где-то есть люди и все не так безнадежно. Но какие люди?.. Если давно разложилось местное общество на касты: обреченно по подвалам страждущих и лукаво им сочувствующих. Так как по долгу бумажно-директивной службы им приходится еще и нарезками дешевых подааний сосрывать нищим и убогим. Жесть!

Настроение испортилось. Время пролетело быстро. Вокруг совсем пустынно. Как выбираться отсюда? Будь одна, ноги в руки, и дошла бы до вокзала. Для того и обувь удобную надела. Но бабушка... старушка... Нечестно будет ее оставить. Думаю, гадаю, хожу между могилками, внимательно всматриваясь в лица людей, здесь упокоенных. Тусклыми, протравленными расстрельными щербинами оттисками они блекло просматриваются на разбитых гранитных памятниках.

Звонко поют-щебечут птицы. Юрко шелестят в траве тонкими, изящными, пластилиновыми, цвета молодой зелени, телами ящерицы. Вспомнились строчки Вознесенского: поглядишь, как несмелы табунки васильков...

Резко оглядываюсь, услышав мягкий звук тормозов. Совсем близко останавливается машина, прилично доступного класса, со светлыми стеклами. Из нее выходит мужчина, приветливо, с легко узнаваемым кавказским акцентом здоровается. Открывает заднюю дверцу и достает из машины букет кремовых роз. Быстрыми шагами пересе-

кает центральную кладбищенскую дорогу, обходит на другой стороне несколько могил и, с неторопливым достоинством, осторожно кладет букет к подножию памятника. Какое-то время стоит у гранитной плиты, неотрывно смотрит на нее, по-мужски, с прямой спиной, преклоняет правое колено и целует гранит. Быстро встает и, уверенно, широко шагая по буйному, многоцветному разнотравью, возвращается.

Замечая мое вопросительно-пристальное внимание, вежливо говорит:

— Если желаете, я могу вас подвезти. Все равно в город еду.

— Конечно, желаю! — Я действительно обрадовалась. — Но я не одна. Бабушка, старенькая, сейчас сюда подойдет.

Мужчина смотрит на часы:

— Я ждать не могу. Сегодня годовщина смерти моей матери. Вот... проведаль... спешу домой, к родным... будем поминать...

Умоляю его немного, совсем немного подождать. Выбегаю на центральную дорожку и, к счастью, замечаю старушку. Я машу ей высоко поднятыми вверх руками. Она отвечает взмахом одной руки. И очевидно заметив машину, понимает, что надо спешить. Едва остановившись, с мольбой в глазах спрашивает:

— В храм пойдем?

— Не только не получится, но даже и думать об этом невозможно. Надо возвращаться. Этот человек, — указываю глазами на мужчину, стоящего у машины, — подвезет нас до вокзала.

— За двести рублей? — холопская щепетильность старушки удручающе проста.

— Да что вы! Какие деньги! — мужчина уже открывает двери машины и широким, гостеприимным жестом приглашает нас садиться.

Пока машина разворачивается, думаю о превратности случая. Господь не допустил нас с бабушкой в храм, но предоставил возможность, не дав времени на раздумье, уехать с беспокойного кладбища.

Незнакомец ведет машину осторожно, медленно объезжая дорожные ямы. Гляжу ему в затылок, сидя опять на заднем сиденье, вспоминаю, что проходила мимо могилы, у которой преклонил колено мужчина, когда в первый раз с ужасом увидела кладбищенские разрушения. Запомнилась она мне тем, что практически не пострадала за годы обстрелов. Я произношу вслух фамилию похороненной там женщины, и мужчина подтверждает, что она действительно его мать.

Старушка, сидящая рядом с мужчиной, тихо всхлипывает.

— А у вас как, цела могилка мужа? — спрашиваю ее.

— Где там цела... памятник не успела тогда, в четырнадцатом году, поставить, рано было, потом пять лет не приходила, кладбище было закрыто, говорили, что мин неразорвавшихся в земле много. И теперь не советуют памятник ставить... Да и не смогу я это сама сделать... Сыновья мои отсюда уехали... Сама я как перст здесь осталась... В прошлом году наняла работника, чтобы повырвать деревья с могилы деда, а в этом году там — все сплошь одни сорняки. Теперь не знаю, приеду ли когда сюда еще раз.

— Приедете, — ободряет ее мужчина. — И сыновья ваши вернутся.

— Да как же вернутся, если закрыта дорога отсюда и туда... Два года не могла взять разрешение, чтобы выехать наконец отсюда и с ними повидаться, внуков увидеть... И до этого два года не виделись. И что за разрешение, объясните мне, если коммерческим путем ехать, где втридорога с тебя сдерут, так пожалуйста. А как мне высидеть скрюченным сиднем в автобусе больше суток? А теперь и по телефону не поговоришь. Совсем от детей отрезана. А я хочу только знать, как они там, родные мои... Душа изболела... За что? Страшно мне жить. Уехала бы навсегда отсюда, все мне не в радость стало... дети зовут к себе, знаю, не обидят, да могила дедова здесь... до ко-

торой и не дойти теперь моими-то ногами. Да за квартирами сыновей надо присматривать. А продать, хоть за сколько-нибудь, вы же знаете, невозможно. Требуя личного присутствия владельцев квартир, специальное вредительство для нас, что ли, придумали... А раньше можно было по доверенности квартиры продавать. Всем бы польза была. Сыновьям бы деньги отдала, да и жилье кто-то себе здесь купил бы... Господи! Как же мучаюсь я со всем этим... Иной раз дверь в своей квартире не закрываю на ночь на замок... Вдруг со мной что случится. Пью снотворное... Не могу без него заснуть. Соседи? А что соседи? Такие же, как и я. Кто ноги еле переставляет, кто тихим бодрячком на ладан дышит. Шевелимся каждый день, как клячи недобитые, никому здесь не нужные, всем в тягость...

«Опоздавшие умереть...» — думаю про себя.

— Помогаем помалу друг другу, — старушка глубоко вздыхает. — С детьми встретиться не можем... Ампутировали мне всю мою жизнь... без наркоза...

— Печальная история у вас выходит... — посочувствовала я бабушке, зная жизнь донецкую изнутри и понимая, что не все, ну совсем не все она рассказала. В реальности живется ей здесь, как и всем одиноким старикам, еще ужасней.

— Печальная... — тихо согласилась она. — Вот только и радуюсь, когда на часы эти смотрю, — она показала часы, которые я уже видела, на ремешке, туго охватившем ее изборожденную твердыми голубыми венами руку, — да еще когда жемчужинки эти надеваю. — Обернувшись, старушка указала на нитку жемчуга на шее. — Это сыновья подарили нам с дедом на наш золотой юбилей. Незадолго до войны. Дед так рад был часам, что и спал с ними, не снимал с руки. И я стараюсь с жемчужинами не расставаться. Все ближе мне так кажутся сыновья... и не так холодно телу... — сильно закусив губу, она мелко затрясла головой. И больше уже ничего не говорила до самого вокзала.

...И перья дергали из крыл, а ты, бабуля, летала. Пытались воздух перекрыть, а ты, горемычная, дышала... И жизнь твоя как молитва перед Всевышним. Сказала ты сегодня вслух то, что не осмелилась бы произнести, стоя с покорно склоненной головой перед скорбным ликом заступницы твоей, Иверской Божией Матери. Твое спонтанное откровение — всплеск вырвавшихся наконец дум, безразличный окружающим подстрочник твоей печальной судьбы. Искромсанной тяжкими переживаниями в одинокой старости, отсутствием сострадания и сочувствия к многочисленным бедам. Возложить бы твои душевные муки на алтарь для всеобщего обозрения! В назидание судьбы наши вершащим и тупо сторонящимся твоих бед. Для напоминания, что отчаяние затворнического, без опеки близких, одиночества пуще самой тяжелой болезни. А долгая твоя жизнь — бессчетный пример опаленной войной женской доли.

Страшно одиночество немощной человеческой старости в городе, измученном кровопролитием. А ведь предстоит еще в этой одинокой старости дойти по унылой жизненной дороге до самого конца... Нет, не спит никакая война издевательства, садистскую жестокость над покорно хранящими молчание в своих убогих квартирах стариками. А ведь сегодня именно они составляют постоянно тающее население Донецка.

Почувствовав вдруг страшную усталость, подсчитала: оказалось, старушке около восьмидесяти, может, и больше. Вышли из машины. Водитель, думаю, тоже проникшийся горестной исповедью бабушки, с особым добросердечием в голосе пожелал нам обeim хорошего дня.

— Некуда мне спешить сейчас... нет... — старушка медленно направилась к ряду пластмассовых стульев на остановке. Теперь они в прохладной тени от многоэтаж-

ного здания. Все незаняты. Очевидно, совсем недавно был автобус, люди разъехались. — Вы идите... Не ждите меня...

— Вода есть у вас? — свою бутылку я так и не открывала.

— Да... есть... — бабушка уже доставала из сумки бутылочку с минералкой. Замечаю, что треть она выпила раньше. Мерно, как маленькая птичка, отпила из бутылочки и сейчас.

Прощаемся. Неловкость от недосказанного удерживает меня около нее. Словно пытаюсь сократить срок ее одиночества. Или чтобы навсегда впечатать его в свою память как пример угасающих жизнью десятков тысяч других донецких стариков и старушек. Чтобы рассказать всему миру эту втиснутую в формат «быль» историю.

Медленно идя к подземному переходу на привокзальной площади, я много раз оглядывалась на старушку, как будто оправдывала свою нерешительность вторгнуться в непростую ее судьбу ненужностью настырного сочувствия. Вылилась ее душевная кручина в короткой исповеди, избавив хоть ненадолго от терзавших ее опустошенную безысходностью душу мыслей о настоящем и будущем (прошлое навсегда останется для нее понятным). Хоть на миг освежило ее давно забытой отзывчивостью людей, неродных ей по крови.

А много ли сочувствия в молчании большинства? В городе, который есть. Или его нет?

Пусть он будет. Чтобы мир узнал его историю.